
Ирина Роднянская
Москва

ЛИРИКО-ПАТЕТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
В «АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГ»

(К сравнению задач двух эпопей Александра Солженицына)

*Жизнь и творчество Александра Солженицына:
на пути к «Красному Колесу»: сборник статей / сост.
Л.И. Сараскина. М. : Русский путь, 2013. С. 337–346*

Написание двух эпопей в течение одной жизни — само по себе чудо. Притом вторая эпопея была, так сказать, зачата раньше первой: «С детства откуда-то я знал, что моя цель — история русской революции <...>»¹ — и как бы скрытно присутствовала внутри работы над ней, с тем чтобы, явившись после неё на свет, продемонстрировать новизну своих задач.

Сами названия обоих сочинений типологически родственны, построены по принципу всеохватывающей метафоры, притом сквозной — такой, что разлита по массиву прозы, давая ей Имя, выходящее за объём непосредственного содержания и становящееся как бы необходимым новым словом в общенациональном языке. Мы уже давно свыклись с первым из них, но, помню, при первоначальном давнем знакомстве я была изумлена географической метафорой и дивилась её последовательному проведению («острова», «корабли», «порты» Архипелага и многое прочее²). Другое же имя — «Красное Колесо» — наполовину найдено в самом «Архипелаге ГУЛАГ»: о «качении» «огромного давящего колеса по стране» читаем в 5-й части «художественного исследования» (6; 21). Окрашенное знаменным колером большевистского захвата и цветом пролитой крови, это Колесо, начиная просто с паровозного, тоже прокатывается вереницей метафоризируемых упоминаний по всему «повествованию в отмеренных сроках». Однако оба так счастливо найденных Имени имеют каждое свою окраску. «Архипелаг ГУЛАГ» — рифмующееся внутри себя двусловие, в нём звучит эковский «висельный юмор»³, сарказм как признак лирической ноты. «Красное Колесо» забирает взгляд своей жуткой наглядностью (оба «К» — прописные), зримо отсылая к каким-то колесницам варварских деспотий.

В обоих случаях автор, определяя род своих творений, не прибегает к понятиям «эпопея», «эпос»; это стало делом критиков, исследователей (скажем, М. Малиа, на мой взгляд опрометчиво, называет «Архипелаг...» «чёрной эпопеей», антиэпосом⁴). Тем не менее соответствующее слово из уст автора «Архипелага...» всё-таки изошло: «И что за дыхание — по часам и суткам, когда вступили вы в страну эпоса?» (4; 454). «Архипелаг ГУЛАГ» написан, а вернее — рассказан, а ещё вернее — произнесён, «медленной внимательной

прозой» (5; 165), соответствующей тому, как тянутся «срока́». Но впоследствии будет создан эпос, пульсирующий именно «по часам и суткам», в согласии с решающими узлами событий. Как ни парадоксально, «медленный» «Архипелаг...» был рассчитан на быстрое реагирование (хотя А.И. не сам выбрал момент его обнародования; за него выбрало Провидение), а прерывистая пульсация «отмеренных сроков» в «Красном Колесе», напротив, апеллировала к неторопливому, соисследовательскому восприятию причин и результатов русской исторической драмы.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — сказал поэт, и это верно в отношении любого художественного продукта (даже в отношении прозы В. Шаламова, которая, при её чрезвычайной смысловой и гражданской силе, остаётся по преимуществу эстетическим актом, рождённым ввиду личной потребности и адресованным неопределённому реципиенту). Но это неверно в отношении *эпопеи*, подспудной задачей которой всегда началась — а тем более так было в экстраординарных условиях подсоветской России — организация национального сознания: через прошлое к будущему. «Чтоб сказано было — и чтоб изменилось! Если слово не о деле и не вызовет дела, — так и на что оно? ночной лай собак на деревне?» (6; 429). Автор не только старается предугадать, как отзовется его слово, но закладывает такое предугадывание в самый состав этого слова. И вместе с тем «Архипелаг...» не следует мелочно относить к «ангажированной» литературе, как это делают некоторые западные критики. «Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политическим обличением» (4; 159), — заявляет автор о книге, которая, несомненно, является и политическим обличением, дотянувшись до историософской глубины, о книге, которая уже успевает к моменту этого заявления в одной из первых её глав покорить читателя силой обличения.

В чём тут дело? Ведь есть же справедливость и даже исследовательская точность в том, что книгу эту называют «Нюрнбергским процессом» Солженицына над большевизмом и коммунистической идеологией (М. Малиа, и не он один), что по самим структурным и речевым приёмам она часто напоминает судоговорение, где повествователь выступает сразу в роли обвинителя и свидетеля, где привлекается множество других свидетелей, инсценируются перекрёстные допросы, а сторона защиты перебивается и побивается встречными репликами «прокурора»⁵.

А дело в том, что по ходу этого несомненного «процесса» с его страстным красноречием, охватывающим широкую область риторических средств, от наглядных свидетельств-картин до сарказма и чёрного юмора, Солженицын не устаёт напоминать о «новом взгляде» на бытие, открывшемся ему в тюрьме и на каторге. Это умудрённый взгляд, возвышающийся над «ангажированностью», но не над «общечеловеческой закладкой» (6; 199) души, которая болит и негодует. Это взгляд изнутри драмы, корректируемый взглядом сверху (что

не тождественно взгляду извне). Для простоты такой взгляд можно назвать весьма традиционно — лироэпическим.

«Теперь я знаю, — говорит автор, — что писателю нельзя поддаваться чувствам гнева, отвращения, презрения» (5; 211). Эти его чувства нескрывая кипят в «судебном красноречии» «Архипелага...», но он им не подвластен. Он не поддаётся им, «подымаясь на невидимую вершину Архипелага» (6; 35) и дорожа «очищенной точкой зрения» (6; 389).

Ближайшая, направленная вовне задача «художественного исследования» — приоткрыть мир насилия над миллионами, мир в цепях — тем, кто оставался в зоне «воли», и понудить оценить его «при свете человеческой совести» (5; 201). Наилучшее слово для определения этого воздействия нашёл уже помянутый о. А. Шмеман: «Кто властен <...> так причастить?» (разрядка моя. — И.Р.)⁶. Причастить Архипелагу тех, кто там не был и даже не представляет себя на месте побывавших, сделать их соучастниками великих страданий и, косвенно, сопричастниками великих злодейств — какой невообразимой художественной мобилизации требует такая задача! Один из западных исследователей, Дж.Б. Данлоп, посчитал, что ведущий пафос, внушаемый книгой, — это «пафос отрицания»⁷. Но это далеко не так. Предполагаемое воздействие должно вызвать чувства куда более сложные — смятённые и борющиеся меж собой, — в итоге же ведущие к тому, что в духовной литературе принято называть «переменной ума», «метанойей».

Прежде всего, повествователь набрал в лёгкие столько воздуха, у него такое широкое дыхание, что не могут быть выдохнуты одни лишь проклятия. «<...> Почти полюбив тот уродливый мир <...>» (4; 10), — вырывается у него во введении к семичастной книге после камертонного рассказа о съеденном эками тритоне — притчи, которая, разоблачая подцензурную недомолвку научной заметки, сразу принимает читателя в братский круг эковского «мы». «Почти полюбив... уродливый» — так мог бы сказать Гоголь о своей поэме — тоже лироэпической, в контрапункте с «отрицательным направлением», над коим вознесена «очищенная точка зрения», включающая духовное начало любви.

«Архипелаг ГУЛАГ», как и поэма Гоголя, написан для слуха, для артикуляции, между тем как «Красное Колесо» — для визионерского созерцания вслед автору (хотя о каком-то кинематографическом экране Солженицын начинает мечтать уже в «Архипелаге...»⁸). Во второй эпосе слово в некотором роде служебно, оно обеспечивает зримость, пластику — или достоверность косвенной речи персонажей. В «Архипелаге...» оно на первых ролях, всё внушается силою слова как такового. Свидетельства гения языка здесь полноправно присутствуют в ряду других свидетельств.

Это и долгодействующие метафоры, обрастающие добавочными смыслами: «операция Большой Пасьянс» (4; 50) — о чекистской перетасовке попавших на крючок старых политических. Это и внезапные вспышки образного

«красного словца»: «Бенгальский огонь предательства!» (4; 361) — о Рамзине; «великое грязнилище» (6; 330) — вместо «чистилища». Это и развёрнутые пассажи с лирической окраской: «Тянутся с острова на остров Архипелага тонкие пряди человеческих жизней. Они вьются, касаются друг друга одну ночь вот в таком стучащем полутёмном вагоне, <...> а ты ухо приклони к их тихому жужжанию и к ровному стуку под вагоном. Ведь это постукивает — веретено жизни» (4; 456). Это внезапная передача слова для ответа на укору Ивану Денисовичу Шухову и соответствующий переход на сказ (Шмеман всю «сказочную книгу» готов назвать «сказом»). Это и саркастическая игра с заглавной «островной» метафорой: там, где открыты неведомые острова, уместно и этнографическое изучение племени туземцев, кое «научно» описывает некий Фан Фаныч (ч. 3, гл. 19). Это и неожиданные уподобления физических явлений состоянию человеческой массы (таковые любил Лев Толстой: все помнят «латентную теплоту патриотизма»; но у Солженицына это ещё лично-профессиональное): «либрация», «молекулярное зловонное облако» — заражённая «вольная» зона вокруг каждого острова Архипелага; сжатие человеческого материала до «нейтронной упаковки» сверхтяжёлого вещества. Это выведение наружу лжи советского новояза: русскую доброту заменила *сознательность*; введено прежде небывалое понятие *вредительство* (а мы с вами так к нему привыкли!); «пролетарское *чутьё*» («всё через ноздри»); *измена Родине* (а на деле — измена Родины своим сынам); «Ах, доброе русское слово — *острог* — и крепкое-то какое! и сколочено как!» (4; 410; гоголевская, кстати, интонация) — а вместо него: *тюрзак*; «*каторга*» — «хорошее, тяжёлое слово» (6; 9) — вместо него *ОСО*.

Это и святая уверенность словознатца, что Бог шельму метит — прозвищем: «<...> как будто по фамилиям их (чекистов, ночных *катов*. — *И.Р.*) на работу берут!» (4; 148) — прокурор Трутнев, майор Шкуркин, следователь Скорохватов, ещё Волкопялов и Грабищенко, а ещё из магнатов треста в Экибастузе, на каторге: Хищук и Карашук, «нарочно не выдумаешь» (5; 461). И «буквенные» аналогии в фамилиях гулаговских начальников и известных нацистов: М. Берман — М. Борман, Эйхманс — Эйхман; правда языка подсказывает, что тут не случайность.

Наконец — пословицы, и подслушанные, и из неразлучного с Солженицыным Даля, и сложенные к месту, — они с нарастанием просквозивают текст (при переходе же в «Красное Колесо» они не столь часты, зато крупно поданы в роли резюмирующего титра на последнем кадре очередного эпизода или экранной панорамы⁹). Приведу из пословиц «Архипелага...» только одну, быть может наиважнейшую и потому графически выделенную там как стих: «*Делото забывчиво, тело-то заплывчиво*». «Заплывчивое тело! — вот что такое человек!...» — восклицает автор (6; 402). Главное, ради чего «художественное исследование» вдувается в уши, — не дать заплыть забвением, не допустить его как аморальный акт. И это не только во имя возведения монумента над величайши-

ми страданиями миллионов, это во имя перелома в национальном сознании, без чего для страны выход из режимного тупика невозможен.

Я остановлюсь на одной пререкаемой теме, которая как бы не имеет прямого отношения к тому, о чём говорилось выше. То есть к сказовому и внутренне-диалогическому строю повествования с его неустанными обращениями к каждому из нас: «Это всё — рядом с вами, впритирочку с вами <...>» (4; 435); «Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колёс? Это идут вагонзаки» (4; 509); с ядовитыми укорами тупым и недобросовестным западным «гуманистам», будь то Бертран Рассел, Жан Поль Сартр или даже Хьюлетт Джонсон, либо «бардам Двадцатых годов» (4; 313) и прочим ортодоксам, заслоняющим свои мозги от сути режима. Тема, лежащая, как кажется, поодаль от всего этого, — между тем глубоко личная, тысячекратно пережитая, во-бравшая лагерный опыт человековедения и в конечном счёте обращённая к философии истории. Это тема *сопротивления*. Без неё невозможно понять переход к концепции «Красного Колеса».

Мне важно оспорить мнение Клода Лефора¹⁰, находящего у автора «Архипелага...», от первых томов к заключительному, переоценку предыдущих положений. Исследователь утверждает: проведя читателя через мир рабства и предложив примеры стойко-христианской этики, Солженицын в виде кульминации своей эпопеи подводит нас, достаточно теперь подготовленных, к признанию легитимности коллективной борьбы против тоталитаризма, — так что «описание великих бунтов каторги вдохновляет его на одну из лучших страниц революционной литературы» (разрядка моя. — *И.Р.*)¹¹. Такова чрезвычайная перемена в повествовании, как бы дезавуирующая прозвучавшие ранее в нём слова «Я понял ложь всех революций».

Безупречно продуманную композицию «Архипелага ГУЛАГ» я решаюсь толковать иначе. Вопрос о сопротивлении, об отсутствии коллективной к нему воли, горячащий и жгущий автора вопрос, — ведь он ставится с *первых* страниц эпопеи, непосредственно в главе «Арест». И далее — ни на что не тратит автор столько саркастической патетики, как на изобличение «кроликов», обмирающих перед насилием. «Мы просто заслужили всё дальнейшее» (4; 31), — горько досадует он. О, если бы встречать из засады ночных гостей — топорами, молотками, кочергами, чем придётся... «Я молчал...», «Я не крикнул...» — кается он в неготовности принести личную жертву для возбуждения прохожих, пока *сам* вёл не знающих Москвы конвоиров к месту своего заключения. Он констатирует, что «мы, советские люди, ступали на почву Архипелага духовно безоружными — давно готовыми к растлению, ещё на воле тронутые им <...>» (5; 505), уже проваленными «в братскую яму рабства» (5; 511), — и частый гребень 58-й статьи населял ГУЛАГ «эрзацем политических», «*политической шпаной*» (5; 243). «Как великолепно оправдалась злодейская затея Архипелага!» (6; 410) — придумка Сталина, знавшего своих подданных.

«Так потупимся же перед Великим Мясником, <...> значит, прав оказался он, сердцевед, заводя этот страшный кровавый замес и проворачивая его год от году?

<...>

Ведь мы уважаем Больших Злодеев. Мы поклоняемся Большим Убийцам» (6; 326).

Горше вымолвить нельзя — а ведь сказано это уже о послесталинском времени, да и нашему, сегодняшнему, приходится точно в пору.

Но обратим внимание на то, что, безуспешно мечтая о кочергах, топорах и молотках, о физических схватках с палачами в тех или иных ситуациях гулаговской одиссеи, Солженицын выделяет как диагноз именно *духовную* обезоруженность, чары всепроникающей идеологии и навычку к ней, подсознательно заморачивающую даже тех, кого можно назвать простыми «обывателями». (И по ходу повествования приводит он обнадеживающие людские исключения из этого общего гипноза: от непреклонной общественницы Анны Скрипниковой, строптивых правдолюб-«кадыйцев» до баптистов и староверов.) Потому-то кульминацией эпопеи следует, вопреки Лефору, считать не героику стихийных мятежей, сколь ни горячит их пламя, сколь ни пьянит справедливая жажда возмездия, — а распрямление души, воскрешение духа (без чего и самые мятежи — как одно из побочных следствий внутреннего раскрепощения — были бы невозможны).

«Мы подымаемся...» Казалось бы, не «мы», а «я» должно стоять в этих строках исповеди из части 4-й эпопеи — «Душа и колючая проволока» (она-то центральная даже по положению); а всё же — «мы». Именно на каторге, в Особлаге, говорит Солженицын, были самые важные годы его жизни. Предваряя дальнейшее — все вспышки борьбы, вдохновляемые свободой от рабских чар и «чувством всеобщей правоты» (5; 484)¹², — он исповедует ту перемену, которая произошла с ним в сфере духа. Но не с ним одним, уверен он, — ибо зачем ему тогда было употреблять обобщающее местоимение второго лица единственного числа в прославленном пассаже, написанном почти ритмической прозой?

«Ты был резко нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Теперь тебе отпущено его с лихвой <...> и благодатной успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам — терпение.

Ты подымаешься...

Ты никому ничего не прощал прежде, <...> теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений.

<...>

Душа твоя, сухая прежде, от страдания *сочает*. «Камни шуршат из-под ног. Мы подымаемся...» (5; 492).

И тут же, пожалуй, самое главное.

«Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?..» (5; 493).

Узнаёте? Так Дмитрий Карамазов, неповинный в убийстве отца, готов был идти на каторгу под гнётом отягчённой совести. И далее:

«Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца. <...>

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им *носителей* зла <...> само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство» (5; 496).

Вряд ли обдумывавший это «на гниющей тюремной соломке» (там же), в больничке, Солженицын помнил или к тому времени уже знал, что его мысли, его «первое шевеление добра» в сердце (там же) — фактически *дословно* вторят тому, что завещал следующему веку пострадавший это же Достоевский. Такой радикальный поворот сознания, такое введение его в *новую жизнь* переживает самостоятельно каждый искатель Истины и, пережив однажды, вряд ли уже отречётся и поворотит вспять. На языке духовных понятий это зовётся *обращением*, и оно центрирует внутренний смысл эпопеи, её антропологию.

Да, Солженицын знает, что неимоверное поругание и обескровливание человека в лагере ведут и к растлению, и в споре с Варламом Шаламовым учитывает, до возможного для себя предела, все «встречные мысли» (5; 504). Но он настаивает на неотменимости внутри лагерного человека, как и человека вообще, «великого развилка» (5; 485), за которым следует либо восхождение, либо растление. И на этом «развилке» к растлению ведёт готовность добиваться результата *любой ценой* — ради собственного ли выживания или ради мнимовозвышенных политических целей. Рассказам о лагерных мятежах в «Архипелаге...» предшествует новелла «Белый котёнок» — о великом непокорце, «убеждённом беглеце» Георгии Тэнно¹³, — вложенная ему в уста и даже, кажется, им авторизованная: это настоящий триллер с внешне горькой развязкой, ибо беглец не смог ради своего спасения заставить себя убить встречаемых людей, его-то потом и выдавших. Поражению противостоит внутренняя победа — вот он, «развилоч»! Все революции между тем осуществляются под знаком достижения результата *любой ценой* (что сконденсировано в стенобитной одержимости Ленина) — и своей нравственной максимой Солженицын загодя выносит им приговор, достигающий в «Красном Колесе» непререкаемости.

Да, Солженицын горд тем, что в Экибастузе узники перестали быть «овцами», «подняли знамя *политических* и стали ими!» (6; 91) и что в этом участвовал он. Да, он воодушевлён новой готовностью «совместно принять бой» (6;

204) и вдохнуть «суровый и чистый воздух мятежа» (6; 271). Да, его возбуждает внезапное преобразование народной массы, как это случилось в 1962 году в Новочеркаске: «<...> совсем другой народ, совсем другой воздух <...>» (6; 473). Но неслучайно: то, что связано с вооружённой борьбой и с повеявшим над ГУЛАГом «ветерком» революции (6; 221), писатель склонен описывать в символике языческих жертвоприношений. Освободительное выступление РОА и подобных ей формирований — «ещё одна додаточная жертва на неостывший жертвенник 1917 года» (4; 231); поветрие резни стукачей и предателей в Особлаге: «Как на древних жертвенниках, их кровь пролилась, чтоб освободить нас от тяготеющего проклятия» (6; 221); поджог деревообделочного комбината в ответ на исполнение расстрельных приговоров восставшим — «древний скандинавский обычай вместе с героем сжигать и его ладью» (6; 241); а кровная месть в среде чеченцев — «варварский дикий старинный закон» (6; 356), наводящий, однако, на свой лад разумный порядок. (Всё это — по установлениям ветхого мира.)

В патетическую хронику мятежей вложен весь темперамент повествователя (и как художнику не отозваться на такую вот подробность: зэк, прежде ктитор одесской церкви, запекает старую революционную песню!) — но им не погашен недреманный наблюдательный пункт сознания: «<...> тут же в здоровом ядре начинала виться и червоточина — неизменная, не новая, всеисторическая принадлежность всех революционных движений!» (6; 213); «Среди тех, кто идёт путём насилия, вероятно, это неизбежно» (6; 248); «Восставшие и освободившие тюрьму арестанты теперь заводили свою. Извечная усмешка» (6; 280).

Но вот что важно для понимания дальнейшего. «Архипелаг ГУЛАГ» — книга по-своему воинственная. В ней перед лицом вопиющих несправедливостей звучит, по яркому выражению автора, «подземный гонг справедливости» (6; 210), с тем чтобы его удары были слышаны и повлекли, как уже говорилось, к действию. К какому же? Как бы переча Клоду Лефору, другой помянутый нами западный автор, Данлоп, выгибает мысль Солженицына в противоположную революционным выводам первую сторону — и тоже, думаю, промахивается: «<...> сам Солженицын примет только внутреннее сопротивление <...>. Хотя Солженицын искренне сочувствует стихийным выступлениям бесстрашных людей, ему самому по духу гораздо ближе протест чисто *моральный*, [восходящий] к святым Борису и Глебу русской духовной традиции, основанной на идеях непротivления злу и самопожертвования»¹⁴.

Как бы не так! Вслед намеченной им публикации «Архипелага...» (которая, однако, произошла не по принятому плану) Солженицын готовит два документа, непосредственно вытекающие из духовного и гражданского опыта эпопей-исследования. Это «Письмо вождям», где закреплена и транслирована наверх его надежда на эволюционное освобождение и преобразование страны. И письмо-воззвание к общественности, к интеллигенции — «Жить не по

лжи». То есть, действуя сразу по двум разведённым враждой адресам, как в своё время поступал Владимир Соловьёв перед лицом царя и террористов и Сергей Булгаков во II Думе, Солженицын ставит сознательные элементы страны пусть на «самый лёгкий из возможных»¹⁵, как он тут же подчёркивает, но на путь *неповиновения*, публично проявляемого сопротивления злу. (Сначала он рисовал себе «кампанию идеологического неповиновения»¹⁶ — при реальной невозможности, пока, неповиновения гражданского, но потом отказался от лозунговой формулировки, хотя и не от сути её.)

И ему — удалось! Отторжение идеологии, прямо или косвенно вслед заданному импульсу, началось и в культурном андеграунде («поколение дворников и сторожей»), и нередко — без прямого выхода из истеблишмента, но с изощрёнными способами полного избегания компромиссов. Благодаря этой необъявленной кампании идеологического неповиновения, пробудившей и правозащитников, после взорвавшейся по обе стороны кордона бомбы по имени «Архипелаг ГУЛАГ», наша страна в конечном счёте не пошла по вожделенному теперь для многих китайскому пути с его капиталистической экспансией в ватном коммунистическом контейнере и, многое, может, потеряв, многожды наошибавшись, погрязла сегодня во лжи лишь по пояс, а не по самую макушку.

Продолжительность же выхода из пленения Солженицын отлично предвидел, — и, соответственно, эпопея о русской революции, где скрупулёзное исследование цепи катастроф предпринято во имя упреждения вечной для России угрозы исторического циклизма (чтоб не «на те же грабли...»), предлагается нам сегодня как наинадёжнейший инструмент анализа современности, инструмент, которым ещё предстоит овладеть.

Примечания

¹ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования // Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2010. Т. 4. 2010. С. 194–195. Далее цитируется это издание с указанием в скобках тома и страниц; сохранена авторская орфография и пунктуация.

² Наверное, не я первая полагаю, что на географическое понятие «Архипелаг» Солженицына мог навести «Остров Сахалин» А.П. Чехова: там всего лишь «остров», здесь — *система* «островов», покрывающая всю страну.

³ См.: Малиа М. Война на два фронта: Солженицын и «Архипелаг ГУЛАГ» // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика (1974–2008): Сб. ст. М.: Русский путь, 2010. С. 396.

⁴ См. там же. С. 393. Но где в виде итога Малиа находит свидетельство «деградации», о. А. Шмеман различает в этой «сказочной книге» «свет и надежду» (Шмеман А., *прот.* Собр. ст. (1947–1983). М.: Русский путь, 2009. С. 794, 797). К слову, великие эпосы античности и Средневековья, за редкими исключениями, трагедийны: в «Илиа-

де» гибнут Патрокл и Гектор, уже обречён Ахилл, горы трупов в дымящейся Трое; в «Песни о Роланде» с честью погибает главный герой; о катастрофической «Песне о Нибелунгах» нечего и говорить — такая «мрачность» не делает эти эпосы «чёрными».

⁵ См. убедительный анализ Р. Вроона «Литературное произведение как судебный процесс: “Архипелаг ГУЛАГ”» // Солженицын: Мыслитель, историк, художник... С. 417–446.

⁶ Шмеман А., *прот.* Указ. соч. С. 795.

⁷ См.: Данлон Дж.Б. «Архипелаг ГУЛАГ»: альтернатива идеологии // Солженицын: мыслитель, историк, художник... С. 407.

⁸ «И ещё это должен увидеть русский экран <...>» (5; 165).

⁹ К примеру, в «Марте Семнадцатого» один из эпизодов — с самоупоённым Керенским в центре — убийственно подытожен: «Суетлив воробей, а пива не сварит».

¹⁰ См.: Лефор К. Об «Архипелаге ГУЛАГ» // Солженицын: Мыслитель, историк, художник... С. 383–387.

¹¹ Там же. С. 385.

¹² «Это было ощущение народного испытания — подобного татарскому игу», — продолжает здесь же автор свою мысль. «Красное Колесо» — Узел за Узлом — демонстрирует, как прокладывался путь к этому «игу» — внутренней оккупации и, если угодно, «самооккупации» России.

¹³ См. ч. 5, гл. 6 и 7, «Архипелага ГУЛАГ».

¹⁴ Данлон Дж.Б. Указ. изд. С. 410.

¹⁵ См.: Солженицын А.И. Публицистика. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1989. С. 170 (1-я паг.).

¹⁶ См. там же. С. 368.